

М.Л. Гофман

Пушкин

Психология творчества

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82.09
ББК 83.3
М11

М11 **М.Л. Гофман**
Пушкин: Психология творчества / М.Л. Гофман – М.: Книга по Требованию,
2013. – 218 с.

ISBN 978-5-458-37899-4

ISBN 978-5-458-37899-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

Пушкинская литература велика и обильна — такъ велика, что даже литература о Пушкинской литературѣ весьма значительна. И несмотря на то, что изъ десяти книгъ о Пушкинѣ, по крайней мѣрѣ, девять посвящены его біографіи, мы до сихъ поръ не имѣемъ сколько-нибудь полной, обстоятельной біографіи Пушкина и въ сущности, въ общемъ обхватѣ жизни и личности Пушкина, не ушли дальше Анненковскихъ «Матеріаловъ для біографіи А. С. Пушкина».

Біографіи Пушкина нѣтъ, но біографическій подходъ доминируетъ въ пушкиновѣдѣніи, грозящемъ перейти въ науку о жизни и личности Пушкина, грозящемъ заслонить Пушкинымъ-человѣкомъ поэта-Пушкина.

Я нисколько не думаю отрицать ни интереса (о, интересъ очень большой! — Пушкинъ весьма и весьма незаурядный человѣкъ, можетъ быть, самый крупный и интересный *человѣкъ* въ Россіи!), ни значенія изученія біографіи Пушкина; но, думается мнѣ, какъ ни важна и ни интересна жизнь Пушкина, для историка литературы она должна стоять на второмъ планѣ, не заслоня собою первого, самаго важнаго — творчества Пушкина. Біографія поэта необходима и для изученія его

творчества, но необходима въ той мѣрѣ, въ какой *необходима*, въ той мѣрѣ, въ какой *помогаетъ* изученію творчества.

Всѣ говорятъ, что *искренность* — отличительное свойство всѣхъ произведеній Пушкина, — согласенъ: Пушкинъ — и въ жизни, и въ творествѣ — искрененъ до конца. Всѣ говорятъ, что въ основѣ всѣхъ произведеній Пушкина — его жизнь и впечатлѣнія этой жизни, — согласенъ и съ этимъ, ибо трудно, невозможно оспаривать положенія подобнаго рода. Но *несогласенъ* съ анализомъ произведеній Пушкина съ точки зрѣнія того, какъ въ нихъ отразилась жизнь Пушкина (ибо это значило бы неизмѣримо большее — поэта — замѣнять меньшимъ — человѣкомъ), и еще болѣе *несогласенъ* съ логическимъ прыжкомъ изъ этихъ положеній къ признанію автобіографичности или автографичности творчества Пушкина.

Снимать прекрасныя краски творчества для того, чтобы обнаружить зерно жизни — не значитъ ли это служить тѣмъ «низкимъ истинамъ», которыя поэтъ - вымыслитель - творецъ Пушкинъ отвергъ, воскликнувъ съ жаромъ:

Нѣтъ!

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ!

Пушкинъ былъ прежде всего жрецомъ этого «возвышающаго обмана», поэтомъ, и при томъ поэтомъ, надѣленнымъ такимъ богатымъ творческимъ воображеніемъ, какъ, можетъ быть, никто ни до него, ни послѣ него: Пушкинъ всегда исходитъ отъ жизни, отъ впечатлѣній жизни, и всегда уходитъ отъ жизни — «въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ», гдѣ царствуетъ возвышающій обманъ Вымысла.

Поэтъ — *искренній* поэтъ — такъ часто говорить о своемъ созерцательно-жизненномъ творествѣ (какъ противоположности творчества жизненно — эмоциональнаго), объ антиномичности жизни и поэзіи, объ *уходѣ изъ жизни* (исходя, однако, изъ жизни), что да позволено будетъ мнѣ говорить его поэтическими словами-символами. Я знаю, что меня можно упрекнуть въ противорѣчій самому себѣ (этотъ упрекъ и былъ брошенъ мнѣ, если не ошибаюсь, Б. В. Томашевскимъ): какъ же я, отрицая автографичность творчества Пушкина, зачеркивая знакъ равенства между Пушкинымъ-человѣкомъ и Пушкинымъ-поэтомъ, пользуюсь словами-образами его творчества для выясненія его взглядовъ, какъ я интерпретирую его творчество въ качествѣ личной исповѣди! Отвѣчаю на этотъ упрекъ: я отказываюсь видѣть въ каждомъ поэтическомъ выраженіи (даже въ лирическомъ творествѣ) — *исповѣдь личной жизни*, но я не могу не видѣть во всемъ, что онъ ни создавалъ — выраженіе его творящей, искренней личности — это во-первыхъ; во-вторыхъ: я пользуюсь его словами - символами, только какъ символами — и только потому, что они мною *объективно* провѣрены (я могъ бы обойтись и безъ символовъ Пушкинской поэзіи и прозаически констатировать факты — «низкія истины»).

15 августа 1827 года Пушкинъ писалъ М. П. Погодину изъ Михайловскаго: «Я убѣждалъ въ деревню, почую рифмы!» и дальше:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,

И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголь
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта вострепнется,
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонить гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикий и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Пушкинъ самъ связалъ это поэтическое выраженіе съ жизнью («Я убѣждалъ въ деревню, почуя рифмы» — «Пока не требуетъ поэта»), но можемъ ли мы имъ пользоваться за предѣлами связи, указанной въ письмѣ, можемъ ли говорить о какомъ-либо иномъ высказываніи, кромѣ того, что Пушкинъ, чувствуя приливъ творческихъ силъ, спѣшилъ въ деревню, ибо «въ глуши звучнѣе голосъ лирный, живѣе творческіе сны» (фактъ слишкомъ общеизвѣстный, чтобы на немъ останавливаться: Пушкинъ почти не создавалъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ)?

О «поэтѣ» (какъ творческомъ образѣ, созданномъ поэтическимъ Вымысломъ, воображеніемъ) или о себѣ-поэтѣ, о своемъ поэтическомъ лицѣ говоритъ Пушкинъ, противопоставляя «хладный сонъ» души поэта-человѣка «вострепенувшейся» душѣ въ тотъ моментъ, когда «божественный глаголь», глаголь творческаго вдохновенія, коснется чуткаго слуха? — Отвѣтимъ пока нѣсколько уклончиво (для того, чтобы потомъ дать отвѣтъ безусловный и безоговорочный): такимъ Пушкинъ-поэтъ представляетъ себѣ поэта.

Въ этомъ стихотвореніи, однако, есть такія поэтическія выраженія, которыя можно принять

за поэтическія условности и искать имъ объясненія не въ психологіи Пушкинскаго творчества, а въ классической традиціи; таковы выраженія: «къ священной жертвѣ Аполлонъ» (совсѣмъ XVIII-й вѣкъ!), «святая лира», «божественный глаголь», «бѣжить онъ, дикій и суровый,» «и звуковъ, и смятенья полнъ»... Понятны и просты выраженія «святая лира», «божественный глаголь» и не нуждаются въ особомъ комментарий: слишкомъ часто Пушкинъ говорилъ о «божественности» поэзіи, о «величьи Божьемъ», о высокомъ призваніи поэзіи... Не будемъ сейчасъ останавливаться и на выраженіи «и звуковъ, и смятенья полнъ», *какъ будто* противорѣчащемъ Пушкинскому представленію о поэтическомъ процессѣ, объ истинномъ поэтическомъ процессѣ, исключаящемъ всякое смятеніе («спокойствіе — необходимое условіе прекраснаго»), но запомнимъ это кажущееся противорѣчіе и попросимъ читателя принять пока на вѣру наше утвержденіе, что Пушкинъ творилъ всегда «и звуковъ и смятенья полнъ»...

«Къ священной жертвѣ Аполлонъ».... Почему «Аполлонъ» — богъ поэзіи — понятно: Пушкинъ, конечно, имѣлъ въ виду Аполлона, какъ обычное олицетвореніе поэтическаго, божественнаго наитія (онъ могъ бы себя особенно причислять къ дѣтямъ Аполлона, ибо аполлоническій характеръ поэзіи ни въ комъ такъ рѣзко не сказывается); но о какой «священной жертвѣ» говоритъ Пушкинъ, какую *жертву* долженъ принести на алтарь Аполлона человѣкъ-поэтъ? Разъясненію этихъ словъ служить «Пророкъ», написанный годомъ раньше: въ «Пророкъ» говорится не только о дарѣ пророка въ тотъ моментъ, когда «божественный» глаголь до слуха чуткаго коснется, когда серафимъ

Перстами, легкими какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы. («Какъ пробудив-
шійся орелъ»).

Моихъ ушей коснулся онъ, —
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ,
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.

Таковъ *даръ* человѣку - пророку — даръ вза-
мѣнъ *жертвы*:

И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угля, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынѣ я лежалъ...

«Сердце трепетное вынулъ»... «Какъ трупъ въ
пустынѣ я лежалъ»...

У человѣка вырывается не только «грѣшный
языкъ», но и человѣческое — слишкомъ чело-
вѣческое — «трепетное сердце». «Трепетное сердце»
является той жертвой человѣческой, которую
приноситъ поэтъ-пророкъ: тогда только «божествен-
ный глаголъ», «Бога гласъ» («и Бога гласъ ко мнѣ
воззвалъ») можетъ коснуться «чуткаго слуха», ког-
да поэтъ-пророкъ перестанетъ быть человѣкомъ,
когда изъ его груди будетъ вынуто трепетное
сердце, сердце, трепещущее радостями и горестями
«суетнаго свѣта», когда онъ «какъ трупъ» будетъ
лежать въ пустынѣ...

Мы говорили о Поэтѣ образами поэта, созданнаго творческимъ вымысломъ Пушкина. Но Пушкинъ не ограничивается тѣмъ, что создаетъ символъ аполлоническаго, возвышеннаго Поэта и въ «Евгеніи Онѣгинѣ» отождествляетъ съ собой такого поэта:

Бывало, милые предметы
Мнѣ снились, и душа моя
Ихъ образъ тайный сохранила;
Ихъ послѣ Муза оживила....

«Кого твой стихъ боготворилъ?» —
И, други, никого, ей Богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испыталъ.
Блаженъ, кто съ нею сочеталъ
Горячку рифмъ: онъ тѣмъ удвоилъ
Поэзіи священный бредъ,
Петраркѣ шествуя во слѣдъ,
А муки сердца успокоилъ,
Поймалъ и славу между тѣмъ;
Но я, любя, былъ глупъ и нѣмъ.

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный умъ.
Свободенъ, вновь ищу союза
Волшебныхъ звуковъ, чувствъ и думъ;
Пишу, и сердце не тоскуетъ;
Перо, забывшись, не рисуетъ,
Близъ неоконченныхъ стиховъ,
Ни женскихъ ножекъ, ни головъ;
Погасшій пепелъ ужъ не вспыхнетъ,
Я все грущу; но слезъ ужъ нѣтъ,
И скоро, скоро бури слѣдъ
Въ душѣ моей совсѣмъ утихнеть:
Тогда-то я начну писать
Поэму, пѣсенъ въ двадцать пять.

«Милые предметы мнѣ снились» — «ихъ послѣ Муза оживила»; «я, любя» — «былъ глупъ и нѣмъ»; «прошла любовь» — «явилась Муза»; «пишу» — «и сердце не тоскуетъ»; «скоро, скоро бури слѣдъ

въ душѣ моей совсѣмъ утихнеть»—«тогда-то я начну писать поэму, пѣсенъ въ двадцать пять»...

Такъ совершенно отчетливо вырисовывается идеальный образъ аполлоническаго поэта (и этого поэта можно назвать: имя ему Пушкинъ), который берегаетъ «тайный образъ» «милыхъ предметовъ», которые ему снились тогда, когда душа «вкушала хладный сонъ», когда межъ дѣтей ничтожныхъ міра былъ «ничтожнѣй всѣхъ быть можетъ онъ», но который бѣжитъ отъ заботъ суетнаго міра, уходитъ изъ жизни, убиваетъ въ себѣ человѣка, какъ только божественный глаголь вдохновенія «до слуха чуткаго коснется».

На берегахъ пустынныхъ волнъ, въ широко-шумныхъ дубровахъ созерцаетъ Поэтъ жизнь и снившіеся ему милые предметы (снившіеся тогда, когда онъ былъ человѣкомъ, а не Поэтомъ), и творить новую жизнь, ткеть божественную ткань; созерцаетъ жизнь, но самъ не вмѣшивается въ эту пеструю жизнь, «людской чуждается молвы», «тоскуетъ въ забавахъ міра»; «и звуковъ и смятенья полнъ», онъ долженъ быть совершенно свободенъ отъ другого смятенія — жизненно-эмоціональнаго, отъ волненій и безпокойствъ «трепетнаго», человѣческаго сердца; отсюда вытекаетъ императивъ: спокойствіе — необходимое условіе творчества, необходимое условіе прекраснаго; въ «обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ» не должны доноситься голоса изъ другого міра...

Быть можетъ, однако, и отождествленіе Пушкина съ образомъ Поэта-пророка является также поэтической фикціей, и въ поэтической мелодіи звуковъ-образовъ «Евгенія Онѣгина» мы не имѣемъ права видѣть личной исповѣди поэта-человѣка? — Отвѣтъ на этотъ вопросъ дается объективными фактами.

Пушкинъ дѣйствительно, фактически, претворялъ жизнь въ эстетическій феноменъ и молчалъ любя, писалъ не тоскуя и оживляя тайный образъ милыхъ предметовъ и долженъ былъ убѣгать на берега пустынныхъ волнъ, въ широкошумныя дубровы, и только въ полной отчужденности отъ жизни «суетнаго міра», въ полномъ спокойствіи творилъ новую — эстетическую жизнь.

Крымскій бредъ вылился въ цѣломъ рядѣ произведеній — на протяженіи многихъ лѣтъ, но не въ Крыму, а послѣ — въ Кишиневѣ, въ Одессѣ, въ Михайловскомъ, даже въ Болдинѣ...

Тяжелый, смутный годъ внутренней тревоги пережилъ Пушкинъ въ Кишиневѣ въ 1822 году. Тяжелый, смутный, беспокойный годъ. И какую борьбу челоѣка съ поэтомъ передаютъ его тетради 1822 года: какая масса творческихъ плановъ, какое возбужденіе творческой мысли — и какое обиліе «неоконченныхъ стиховъ». Тутъ и начало лирическаго романа («Таврида»), и начало драмы, и начало поэмъ — —и все только одни начала.

Не спокойнымъ поэтъ уѣзжалъ и въ 1830 году въ Болдино. 31 августа онъ писалъ изъ Москвы П. А. Плетневу: «Осень подходитъ; это любимое мое время; здоровье мое обыкновенно крѣпнеть, пора моихъ литературныхъ трудовъ настаетъ, а я долженъ хлопотать о приданомъ, да о свадьбѣ, которую сыграемъ Богъ вѣсть когда. Все это не очень пріятно. Ёду въ деревню; Богъ вѣсть, буду ли тамъ имѣть время заниматься и *душевное спокойствіе безъ котораго ничего не произведешь*, кромѣ эпиграммъ на Каченовскаго.» Въ 1830 году поэтъ побѣдилъ челоѣка, «божественный глаголь», коснувшійся чуткаго слуха, заставилъ замолкнуть голосъ тревоги и житейскаго волненія; Пушкинъ заперся въ своей обители «трудовъ и чистыхъ нѣгъ»

и въ иномъ тонѣ писалъ тому же Плетневу всего черезъ недѣлю (9 сентября): «Ты не можешь вообразить, какъ весело удрать отъ невѣсты, да и засѣсть стихи писать». И стихи писались въ Болдинскомъ заточеніи — какъ никогда.

Иную, поистинѣ трагическую картину представляетъ страшная для Пушкина Михайловская осень 1835 года. Поэтъ уѣхалъ въ деревню, замученный петербургской жизнью и «почуявъ рѣшмы», — и эта осень оказалась на рѣдкость «безплодной» («такой безплодной осени отроду не выдавалось»), несмотря на богатый приливъ творческихъ силъ, несмотря на высокое вдохновеніе. О размѣрахъ этого вдохновенія можно судить по «Египетскимъ Ночамъ», по т. н. «Сценамъ изъ рыцарскихъ временъ», по лирическому отрывку «Вновь я посѣтилъ», по замыслу «Юдифи». И все же — осень оказалась безплодной: человѣческое, слишкомъ человѣческое побѣдило даже такого большого поэта, какимъ былъ Пушкинъ осенью 1835 года.

Какъ бы вспомнивъ свои прежнія поэтическія высказыванія о творческомъ процессѣ («бѣжить онъ дикій и суровый, и зеуковъ, и смятенья полнъ», «и мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ» и проч.) пишетъ Пушкинъ женѣ (21 сентября): «Ты не можешь вообразить, какъ живо работаетъ воображеніе, когда сидимъ одни между четырехъ стѣнъ, или ходимъ по лѣсамъ, когда никто не мѣшаетъ намъ думать, думать до того, что голова закружится. А о чемъ я думаю? Вотъ о чемъ: чѣмъ намъ жить будетъ? Отецъ не оставитъ мнѣ имѣнія; онъ его уже споловину промоталъ; ваше имѣніе на волоскѣ отъ гибели. Царь не позволяетъ мнѣ ни записаться въ помѣщики, ни въ журналисты. Писать книги для денегъ, видитъ Богъ, не могу. У насъ ни гроша вѣрнаго дохода, а вѣрнаго расхода 30.000.